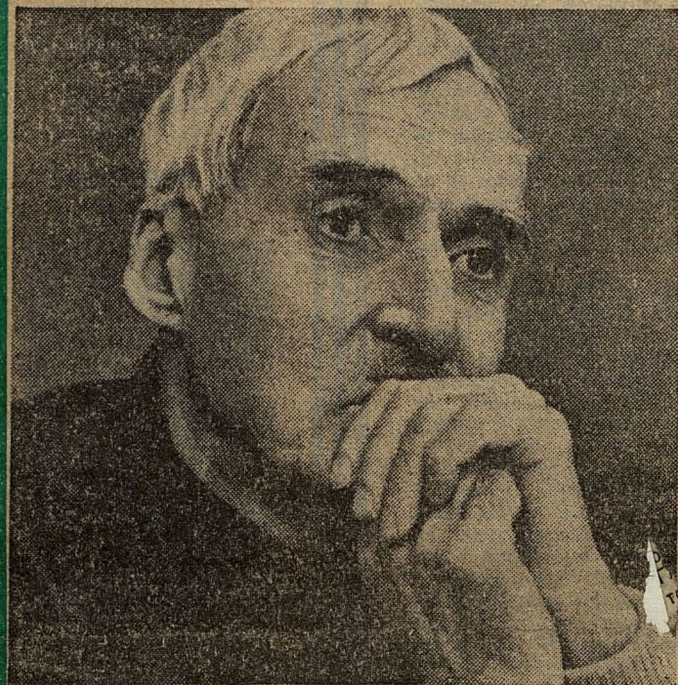




Редация журнала «Дружба народов» подготовила и намерена опубликовать в № 2 за 1985 год неизвестную повесть Константина Симонова «Софья Леонидовна», отрывок из которой мы сегодня предлагаем читателям «ЛГ».

История создания этого произведения такова: повесть была написана в 1959 году и является одной из сюжет-

ных линий первого варианта романа «Живые и мертвые», который, как известно, положил начало знаменитой симоновской трилогии. Автор после долгих размышлений решил избрать в качестве основной линии сюжета судьбу Синцова и тех людей, с которыми его свела война.

Нелегкое дело отснять от большого дерева романа жи-

вые, трепетные, хотя и боковые ветви, которые, конечно, были дороги автору. Но ради цельности и устремленности сюжета Константин Михайлович пошел на это, и читатель получил такие самостоятельные, талантливые произведения, как повести «Пантелеев», «Левашов», «Случай с Пылиным»...

Так, собственно, родилась

и повесть «Софья Леонидовна», которая посвящена одному из эпизодов борьбы смоленского подполья. Героями этого еще не известного читателю произведения К. М. Симонова являются Софья Леонидовна, пожилая женщина-врач, и заброшенная во вражеский тыл радистка — разведчица, жена Синцова — Маша.

Константин СИМОНОВ

Что было



писать. И вдруг сейчас она подумала о той же самой книжке, как о бумаге, которую можно жечь. Надо оставить для записи только несколько листочков и корочки обложки, а все остальное можно вырвать и из каждого листа во всю длину, а еще лучше — наискось, по диагонали, — так будет еще длиннее, скрутить бумажный жгутик, приготовить этих жгутиков столько, сколько выйдет, и беспрерывно зажигать их один от другого. Правда, они будут быстро гореть, но их будет много, и их вместе со спичками теперь хватит на все время и зашифровки, и передачи, и даже приема, если вдруг окажется, что ей передадут что-то в ответ.

Маша вынула из корзинки рацию, и когда она вытаскивала ее, то в ночной тишине посылавшаяся с нее на дно корзинки крупная зашуршала так громко, что она невольно вздрогнула.

Маша вынула книжку и, на ощупь проверив, как она сброшюрована, сначала разорвала корешок и растащила ее на тетрадки, потом из каждой тетрадки, начиная с середины, стала аккуратно вырывать по срединному листку, чтобы жгутики получились подлиннее; потом она разорвала каждый лист поперек, так чтобы жгутики получились бы тоньше, но их получилось бы вдвое больше, и сосчитала все получившиеся полоски, чтобы потом не ошибиться и не просчитаться. Полосок получилось не так много, всего 48. Она сначала подумала, что обшчиталась, в книге было около сотни страниц, но потом сообразила, что нет, не обшчиталась — ведь страницы эти с двух сторон, значит, все правильно.

Она положила полоски на крупу с одной стороны корзинки и начала свертывать из них жгутики и класть их тоже на крупу, но направо, с другой стороны корзинки. Свернув несколько первых жгутиков, она дальше стала свертывать их уже привычнее, только иногда засовывая за пазуху и отогревая о собственное тело застывшие пальцы. Она свертывала один за другим эти жгутики и все время пробовала себе представить, сколько времени уже прошло и сколько осталось до выхода в эфир, и при том думала еще сразу о многих вещах, потому что эта работа — кручение жгутиков — не поглощала всего ее внимания.

Она думала о том, что Софья Леонидовна сейчас уже, наверное, в гестапо, ее допрашивают и, может быть, пытаются или, может быть, делают очную ставку с тем, кто ее выдал. И ей все так казалось, что это кто-нибудь другой, а не Прилипо; нет, Прилипо так до самого конца ничего и не подозревал.

«Но кто же это? Кто же нас выдал? И неужели мы его потом не найдем и не убьем?» — подумала Маша с беспощадной ненавистью к этому неизвестному ей человеку, настолько неизвестному, что она даже не могла представить себе его внешность. Кто же это мог быть? Кто?

Она вдруг вспомнила того члена городской управы на похоронах Шурика — высокого, похорожего на царя Александра III, с бородой лопатой, и как она ненавидела его тогда, на похоронах, и как сегодня оказалось, что он работал на нас и застрелился, когда за ним пришли немцы. А немцы ему доверяли, и он был с ними, и там, на похоронах, в ее, Машинных, глазах, он был с ними, и даже внешность его казалась ей тогда отратительной; а сейчас, когда он застрелился, — уже не казалась...

«А тот, который нас выдал, — подумала она, — казалось, что он с нами, наверное, кто-нибудь, и даже, может быть, много людей думали о том, что он с нами, а он, наоборот, оказался с немцами и сейчас стоит там, в гестапо, перед Софьей Леонидовной и рассказывает все, что он про нее знает. А она все равно, наверное, молчит, — вдруг подумала Маша, — и что бы там с ней ни делали, все равно будет молчать».

И вздрогнула, представив себе все это не на словах, а на самом деле: представив, как быт или жгут это старое тело... Потом она вдруг, может быть, даже из самосохранения, чтобы не

школе, а тоже, как и она, где-то тут, за линией фронта. И хотя эта мысль ничем не облегчала ее положения, но мысль о том, что не одна она, а те все, кто был тогда там, сейчас здесь и делают то же, что и она, — от этой мысли ей стало легче, наверное, потому, что именно в эту мысль составной частью входило не всегда осознаваемое в одиночестве ощущение собственной силы.

Она докрутила последний жгут, достала карандаш и спичку и немножко подвинулась, чтобы удобнее было писать. Потом вынула картонную корочку книги, перегнула ее пополам, чтобы можно было писать на твердом, еще раз мысленно проверив себя, повторив первую фразу, которую она собиралась зашифровать до начала сводки, зажгла спичку, записала еще при свете спички первые три цифры, потом зажгла от спички первый жгутик, потом от первого — второй, от второго — третий и закончила шифровать фразу, как раз когда кончился лютый.

Шестой она не стала зажигать: надо было минуту передохнуть, чтобы не сбиться, а потом уже зажечь вторую спичку и начать зашифровывать сводку.

Фраза была недлинной, как и положено, вполне деловой, но список несчастья не становился от этого короче.

«Я — семь дробь три, — сообщала Маша, — моя квартира закрыта, хозяин (это была Софья Леонидовна) взят, седьмого (это была Тоня) раскрыли, ищут, Стрижевский (фамилию застрелившегося члена управы она не стала зашифровывать, — какая разница, если немцы перехватят его фамилию в эфире, он все равно уже мертв) застрелился. Подозреваем предательство. Я раскрыта, но ушла. Прошу новую явку, прошу указаний (и еще раз), прошу указаний...»

Строго говоря, надо было написать «подозреваем предательство», но Маша, даже не думая над этим, написала именно «подозреваем», потому что за время своих передач в эфир уже привыкла к тому, что она не сама по себе, а только самый кончик какой-то длинной, как ей казалось, цепи, в виде которой в ее представлении существовало здешнее Смоленское подполье. Она только была самым последним звеном, отстукивавшим свои тире и точки в эфир. За ней шли Тоня и Софья Леонидовна, не знавшие друг друга, но соединявшие ее с какими-то другими звеньями, о которых не знали сами.

Теперь не было ни Тони, ни Софьи Леонидовны. Ее, Машу, словно отрубили от всего, с чем она через этих людей невидимо для себя была связана. Отрубили, а то, от чего ее отрубили, наверно, продолжало существовать, иначе не могло быть, и она говорила сейчас «подозреваем предательство» от имени тех неизвестных людей, отделенных от нее теперь выпавшими звеньями цепи, но, наверное, именно так же думавших, как она, наверное, тоже подозревавших предательство. Да что же здесь могло быть, кроме предательства?

Теперь Маша раскрутила шарик, переданный ей Кульковой, еще в темноте несколько раз разглядывала его на ладони и только после этого снова зажгла спичку.

На этот раз сводка была короткая, короче, чем обычно, но зато в ней было два сообщения чрезвычайной важности: номера трех дивизий, прибывших в район Смоленска с Южного фронта, и сообщение о предполагаемом приезде в район Смоленска Гитлера. Маша зашифровала все до конца, повторила в конце еще раз: «Я — семь дробь три — жду указаний». И снова осталась в темноте.

Стараясь как можно дольше поддерживать в пальцах каждый жгут бумажки, она обожгла себе все подушечки пальцев на левой руке, но зато сэкономила: у нее оставалось еще двадцать жгутиков и больше половины коробка спичек, и этого теперь хватит и на то, чтобы успеть передать все, и на то, чтобы записать и расшифровать что-нибудь недлинное, если ей что-то передадут в ответ.

Она погасила обожженные пальцы и несколько минут, отды-

мые и переходить на прием можно было, конечно, и заранее, но это значило тратить драгоценные батареи, которых и так оставалось уже ненамного. Ах, если бы были часы!

А вдруг она ошибается, и, наоборот, сейчас не без двадцати, не без четверти двенадцать, как ей кажется по ее расчетам, и не двенадцать, как она боится, а всего-навсего одиннадцать или четверть двенадцатого! Вдруг она от боязни опоздать совсем сбилась со времени и будет тратить питание рации целых лишних полчаса?

Но так или иначе рисковать опоздать было нельзя. Она решила сначала периодически, каждые две-три минуты, включать питание, давать позывные, переходить на прием, потом опять отключать питание и опять через несколько минут повторять то же самое. И только потом уже перейти на сплошную работу.

«Я — СЕМЬ ДРОБЬ ТРИ, я — семь дробь три... — застучала она ключом. — Перехожу на прием».

Но в наушниках все было тихо. Потом пропищала далекая, чужая немецкая морзянка, потом снова все стало тихо. Она несколько раз давала позывные, переходила на прием, выключала питание, считала по три раза до ста; чтобы пропустить три минуты, и снова давала позывные... Но ответа все не было и не было.

Теперь уже она начала бояться пропуска даже в три минуты и перешла на сплошной прием, только время от времени отстукивая свои позывные.

Но все молчало. Когда она передавала днем, обычно со всех сторон слышались морзянки, а сейчас одна морзянка пропищала и затихла. Все было тихо, а наши молчали как проклятые!

Какое еще придумать одиночество более одинокое, чем этот заброшенный блиндаж в снегах за Смоленском, заброшенная в него женщина, которой некуда, совершенно некуда пойти, выйдя отсюда, у которой просто-напросто на сотни верст нет ни одного знакомого и надежного дома, куда она могла бы пойти со своей рацией, и эта рация, которая хотя и работает, но молчит, как глухая. Только ты говоришь: «Я — семь дробь три, я — семь дробь три, перехожу на прием... Я — семь дробь три... Я — семь дробь три...» А тебе никто ничего не говорит, никто на целом свете.

«Я — семь дробь три, я — семь дробь три...» — снова выстучивала Маша ключом. «Перехожу на прием...» — выстукивала и вдруг представила себе, что над ее рацией, и над ней, и над этим блиндажом один громадный снежный холм, и ее, замерзшую, находят здесь... Нет, не весной, а через много, много лет... Почему-то ей подумалось именно так, и она мысленно увидела лицо мужа, то последнее его лицо, уже после прощания, молчаливое и печальное, там, наверху, в окне, когда она в последний раз обернулась...

«Я — семь дробь три, я — семь дробь три, перехожу на прием», — снова выстукивала она и с усилием и испугом вдруг повела плечами и повертела головой, чувствуя, что она, кажется, не то засыпает, не то замерзает, не то все вместе.

«ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» — на приеме, — вдруг четко сказали знакомые без расшифровки, привычные точки и тире, — передавай.

Маша передала первую фразу и по памяти добавила то, что записала с самого начала, зашифровав в уме, потому что это была фраза, которую ей часто приходилось повторять и раньше: «Расшифруйте сразу, перехожу на прием».

— Понимаю, продолжай, — простучали точки-тире.

И Маша стала поспешно передавать сводку, радуясь, что вопреки ее опасениям в резервное время действительно дежурили и сразу поймали ее и что она все-таки не одна, похороненная в этих снегах, что где-то за этим условным стуком морзянок есть живой голос, отвечающий ей: «Понимаю, продолжай».

Когда она кончила передавать сводку и перешла на прием, у нее осталось всего девять спичек, она пересчитала их пальцами, и четыре жгутика бумаги.

Она записала две колонки цифр, означавших, что ей передали в ответ всего десять — двенадцать слов, потом, уже не записывая, услышала знакомые тире и точки, означавшие конец передачи: «У меня все. Выключаюсь», — сама выключила питание и осталась снова одна во вдруг оглохнувших наушниках и сразу почувствовала холод в руках, в груди, в спине. За время передачи она совершенно околела. Она поднялась и минут десять приседала и выпрямлялась, прыгала, согреть застывшие ноги, хлопала себя руками и в конце концов, кажется, немножко отошла.

Но что же ей передали оттуда, из Москвы? Можно было, конечно, подождать до утра и расшифровать это при свете, но у нее не было сил ждать, да и оставшиеся спички и жгутики бумаги ей утром будут все равно не нужны. Теперь она передала все, что нужно, и ей незачем было их экономить.

Она снова присела на корточки и, дожидая последние спички и последние жгутики, расшифровала первую группу слов: «Вас поняли, уходите из города направлении Качаловский лес, вас встретят».

«Вас встретят, вас встретят», — ледяными губами прошептала Маша. «Вас встретят», — повторила она еще раз и стала расшифровывать вторую группу слов. Расшифровала одно слово «ваш», на втором выронила из усталых пальцев на снег последний жгут, зажгла последнюю спичку и от последней спички последний жгут, но так и не смогла, должно быть, от усталости и напряжения разобрать следующее слово — оно почему-то не сразу поддавалось расшифровке — почувствовала боль ожога в пальцах и осталась в полной темноте. Еще раз опустила коробку со спичками, но коробка была пуста; пошарила в кармане пальто — может быть, одна спичка завалялась туда, но туда не завалялось ни одной спички.

Была темнота, ночь, фраза: «Поняли вас, уходите из города направлении Качаловского леса, вас встретят», — и еще это слово «ваш»... Что там дальше, придется расшифровать уже утром, когда будет светло.

Маша знала, что большой Качаловский лес, о котором ходили в городе слухи, что там партизаны, начинается если не прямо здесь, то где-то в этой стороне, где-то близко, за тем чернеющим лесом, и если идти, то идти надо сейчас. Она почувствовала великий соблазн свернуться калачиком и лечь здесь, в землянке, но умом понимала, что этого сделать нельзя, прежде всего потому, что если она ляжет, то не встанет; ей покажется, что она пригласила, а на самом деле она замерзнет. Это главное, но это не все: если она действительно хочет выйти на Качаловский лес, если там действительно ее встретят, она должна идти сейчас, именно сейчас, чтобы ночью, пока темно, пройти как можно дальше в ту сторону от города. Правда, если она пойдет сейчас, ночью, она может заблудиться, но если она пойдет утром, ее могут захватить здесь, около самого города, а это еще страшней.

Она не знала, хватит ли у нее сил идти всю ночь через лес, но она знала, что, оставшись здесь, погибнет.

Она выгребла из корзинки и насыпала в карманы жакетки и пальто доверку, сколько могла, крупы, потом положила обратно в кошелку рацию и, выйдя из блиндажа, отметив от него десять шагов влево по окопу, зарыла рацию в снег. Там, в блиндаже, если бы она закопала ее, это могло вдруг все-таки привлечь чье-нибудь внимание; здесь, прямо в окопе, вряд ли кто-нибудь мог на нее наткнуться. Поземка мела сейчас еще сильнее, и Маша



В СМОЛЕНСКОМ

писать. И вдруг сейчас она подумала о той же самой книжке, как о бумаге, которую можно жечь. Надо оставить для записи только несколько листочков и корочки обложки, а все остальное можно вырвать и из каждого листа во всю длину, а еще лучше — наискось, по диагонали, — так будет еще длиннее, скрутить бумажный жгутик, приготовить этих жгутиков столько, сколько выйдет, и беспрерывно зажигать их один от другого. Правда, они будут быстро гореть, но их будет много, и их вместе со спичками теперь хватит на все время и зашифровки, и передачи, и даже приема, если вдруг окажется, что ей передадут что-то в ответ.

Маша вынула из корзинки рацию, и когда она вытаскивала ее, то в ночной тишине посыпавшаяся с нее на дно корзинки крупа зашуршала так громко, что она невольно вздрогнула.

Маша вынула книжку и, на ощупь проверив, как она сброшурована, сначала разорвала корешок и растащила ее на тетрадки, потом из каждой тетрадки, начиная с середины, стала аккуратно вырывать по двуслоному листку, чтобы жгутики получились подлиннее; потом она разорвала каждый лист попеременно, так, чтобы жгутики получились бы тоньше, но их получилось бы вдвое больше, и сосчитала все получившиеся полоски, чтобы потом не ошибиться и не просчитаться. Полосок получилось не так много, всего 48. Она сначала подумала, что обобщилась, в книге было около сотни страниц, но потом сообразила, что нет, не обобщилась — ведь страницы эти с двух сторон, значит, все правильно.

Она положила полоски на крупу с одной стороны корзины и начала свертывать из них жгутики и класть их тоже на крупу, но наоборот, с другой стороны корзины.

Свернув несколько первых жгутиков, она дальше стала свертывать их уже привычнее, только иногда засовывая за пазуху и отогревая о собственное тело застывшие пальцы. Она свертывала один за другим эти жгутики и все время пробовала себе представить, сколько времени уже прошло и сколько осталось до выхода в эфир, и при том думала еще сразу о многих вещах, потому что эта работа — кручение жгутиков — не поглощала всего ее внимания.

Она думала о том, что Софья Леонидовна сейчас уже, наверное, в гестапо, ее допрашивают и, может быть, пытаются или, может быть, делают очную ставку с тем, кто ее выдал. И ей все так казалось, что это кто-нибудь другой, а не Прилипко; нет, Прилипко так до самого конца ничего и не подозревал.

«Но кто же это? Кто же нас выдал? И неужели мы его потом не найдем и не убьем?!» — подумала Маша с беспощадной ненавистью к этому неизвестному ей человеку, настолько неизвестному, что она даже не могла представить себе его внешность. Кто же это мог быть? Кто?

Она вдруг вспомнила того члена городской управы на похоронах Шурика — высокого, похожего на царя Александра III, с бородой лопатой, и как она ненавидела его тогда, на похоронах, и как сегодня оказалось, что он работал на нас и застрелился, когда за ним пришли немцы. А немцы ему доверяли, и он был с ними, и там, на похоронах, в ее, Машиных, глазах, он был с ними, и даже внешность его казалась ей тогда отвратительной; а сейчас, когда он застрелился, — уже не казалась...

«А тот, который нас выдал, — подумала она, — казалось, что он с нами, наверное, кто-нибудь, и даже, может быть, много людей думали о том, что он с нами, а он, наоборот, оказался с немцами и сейчас стоит там, в гестапо, перед Софьей Леонидовной и рассказывает все, что он про нее знает. А она все равно, наверное, молчит, — вдруг подумала Маша, — и что бы там с ней ни делали, все равно будет молчать».

И вздрогнула, представив себе все это не на словах, а на самом деле представив, как бьют или жгут это старое тело... Потом она вдруг, может быть, даже из самосохранения, чтобы не думать в эту минуту о себе и не думать, что будет с нею, если она попадет к немцам, вдруг перескочила в мыслях на школу; она вспоминала невольный подмигивающий взгляд мальчика Шмелева. Там ли он еще, и кто вообще там? Остался ли в школе кто-нибудь из тех, кто учился при ней, или все уже здесь, у немцев, так, как она? И сам Шмелев?.. Она уже не впервые вспоминала его, и ей почему-то всегда казалось, что он уже не в

морзянки, а сейчас одна морзянка пропала и затихла. Все было тихо, а наши молчали как проклятые!

Какое еще придумать одиночество более одинокое, чем этот заброшенный блиндаж в снегах за Смоленском, заброшенная в него женщина, которой некуда, совершенно некуда пойти, выйдя отсюда, у которой просто-напросто на сотни верст нет ни одного знакомого и надежного дома, куда она могла бы уйти со своей рацией, и эта рация, которая хотя и работает, но молчит, как глухая. Только ты говоришь: «Я — семь дробь три, я — семь дробь три, перехожу на прием... Я — семь дробь три... Я — семь дробь три...» А тебе никто ничего не говорит, никто на целом свете.

«Я — семь дробь три, я — семь дробь три...» — снова выступила Маша ключом. «Перехожу на прием...» — выстукивала и вдруг представила себе, что над ее рацией, и над ней, и над этим блиндажом один громадный снежный холм, и ее, замерзшую, находят здесь... Нет, не весной, а через много, много лет... Почему-то ей подумалось именно так, и она мысленно увидела лицо мужа, то последнее его лицо, уже после прощания, молчаливое и печальное, там, наверху, в окне, когда она в последний раз обернулась...

«Я — семь дробь три, я — семь дробь три, перехожу на прием», — снова выстукивала она и с усилием и испугом вдруг повернула плечами и повертела головой, чувствуя, что она, кажется, не то засыпает, не то замерзает, не то все вместе.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ-А на приеме, — вдруг четко сказали знакомые без расшифровки, привычные точки и тире, — передавай.

Маша передала первую фразу и по памяти добавила то, что была записать с самого начала, зашифровав в уме, потому что это была фраза, которую ей часто приходилось повторять и раньше: «Расшифруйте сразу, перехожу на прием».

— Понимаю, продолжай, — протручили точки-тире. И Маша стала последнюю передавать сводку, радуясь, что вопреки ее опасениям в резервное время действительно дежурили и сразу поймали ее и что она все-таки не одна, похороненная в этих снегах, что где-то за этим условным стуком морзянки есть живой голос, отвечающий ей: «Понимаю, продолжай».

Когда она кончила передавать сводку и перешла на прием, у нее осталось всего девять спичек, она пересчитала их пальцами, и четыре жгутика бумаги.

Она записала две колонки цифр, означавших, что ей передали в ответ всего десять—двенадцать слов, потом, уже не записывая, услышала знакомые тире и точки, означавшие конец передачи: «У меня все. Выключаюсь», — сама выключила питание и осталась снова одна во вдруг оглохнувших наушниках и сразу почувствовала холод в руках, в груди, в спине. За время передачи она совершенно оконечела. Она поднялась и минут десять приседала и выпрямлялась, прыгала, согрелая заколенившие ноги, хлопала себя руками и в конце концов, кажется, немощно отшлась.

Но что же ей передали оттуда, из Москвы? Можно было, конечно, подождать до утра и расшифровать это при свете, но у нее не было сил ждать, да и оставшиеся спички и жгутики бумаги ей утром будут все равно не нужны. Теперь она передала все, что нужно, и ей незачем было их экономить.

Она снова присела на корточки и, дожигая последние спички и последние жгутики, расшифровала первую группу слов: «Вас поняли, уходите из города направлении Качаловский лес, вас встретят».

«Вас встретят, вас встретят», — ледяными губами прошептала Маша. «Вас встретят», — повторила она еще раз и стала расшифровывать вторую группу слов. Расшифровала одно слово «ваш», во втором выронила из усталых пальцев на снег последний жгут, зажгла последнюю спичку и от последней спички последний жгут, но так и не смогла, должно быть, от усталости и напряжения разобрать следующее слово — оно почему-то не сразу поддавалось расшифровке — почувствовала боль жжения в пальцах и осталась в полной темноте. Еще раз ощупала коробку со спичками, но коробка была пуста; пошарила в кармане пальто — может быть, одна спичка завалялась туда, но туда не завалялось ни одной спички.

Была темнота, ночь, фраза: «Поняли вас, уходите из города направлении Качаловского леса, вас встретят», — и еще это слово «ваш»... Что там дальше, придется расшифровать уже утром, когда будет светло.

Маша знала, что большой Качаловский лес, о котором ходили в городе слухи, что там партизаны, начинается если не прямо здесь, то где-то в этой стороне, где-то близко, за тем чернеющим лесом, и если идти, то идти надо сейчас. Она почувствовала великий соблазн свернуться калачиком и лечь здесь, в землянке, но умом понимала, что этого сделать нельзя, прежде всего потому, что если она ляжет, то не встанет: ей покажется, что она пригласилась, а на самом деле она замерзнет. Это главное, но это не все: если она действительно хочет выйти на Качаловский лес, если там действительно ее встретят, она должна идти сейчас, именно сейчас, чтобы ночью, пока темно, пройти как можно дальше в ту сторону от города. Правда, если она пойдет сейчас, ночью, она может заблудиться, но если она пойдет утром, ее могут захватить здесь, около самого города, а это еще страшней.

Она не знала, хватит ли у нее сил идти всю ночь через лес, но она знала, что, оставшись здесь, погибнет.

Она выгребла из корзинки и насыпала в карманы жакетки и пальто доверху, сколько могла, крупы, потом положила обратно в кошелку рацию и, выйдя из блиндажа, отметив от него десять шагов влево по окопу, зарыла рацию в снег. Там, в блиндаже, если бы она закопала ее, это могло вдруг все-таки привлечь чей-нибудь внимание; здесь, прямо в окопе, вряд ли кто-нибудь мог на нее наткнуться. Поэмка мела сейчас еще сильнее, и Маша подумала, что уже через час здесь даже не останется следов от ее ног.

Она вылезла из окопа и пошла полем против ветра к темнеющему впереди лесу.

Публикация и подготовка текста Л. ЛАЗАРЕВА
Фото Р. ЗВЯГЕЛЬСКОГО (на фотоконкурс «ЛГ»)
Рис. В. ЛОСЕВА